



Наталья Елецкая

Таёжный,

до востребования



Москва

Издательство АСТ

 АСТРЕЛЬ СПб

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Е50

Дизайн обложки и иллюстрация: *Юлия Межова*

ISBN 978-5-17-176020-5

© Наталья Елецкая, текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

Я как раз думала об отце, когда зазвонил телефон. Резкая трель взорвала тишину, заставив меня вздрогнуть.

Оставив чашку с недопитым чаем на подоконнике распахнутого в теплый июньский вечер окна, я поплелась в коридор, не испытывая желания говорить с кем бы то ни было. Телефон надрывался, словно от того, сниму ли я трубку, зависела моя дальнейшая жизнь.

О том, что так оно и есть, я в тот момент не догадывалась.

— Привет, солнышко.

— Привет, пап.

— Ты уже вернулась с дежурства? Или у тебя сегодня ночное? Вечно путаю твоё расписание.

— Сегодня я отдыхаю, а завтра заступаю в вечернюю смену.

— Может, заскочишь перед больницей? Есть разговор.

— Да, я тоже хотела с тобой поговорить...

— Что-то случилось? — встревожился отец. — Хочешь, приезжай прямо сейчас.

— Это терпит до завтра.

— Ну хорошо. Как дела у Матвея? Как его диссертация?

Мои пальцы инстинктивно сжали трубку. Прежде чем ответить, я расслабила руку, испугавшись, что фи-

зическое напряжение передастся голосу, отец это почувствует и примчится на ночь глядя, а этого мне совсем не хотелось.

— У него всё хорошо, пап. Диссертация продвигается.

— Вы, кажется, планировали в июле поехать в отпуск?

— Это еще не точно. Матвея могут не отпустить с работы.

Пора было заканчивать разговор. Я ненавидела лгать, особенно близким людям и особенно — отцу. Я еще не успела свыкнуться с фатальными изменениями в своей такой налаженной, безоблачной, счастливой жизни. Слишком неожиданно все произошло.

Пауза затягивалась; я не знала, что сказать, но медлила вешать трубку. Почувствовав мою напряженность, отец произнес нарочито бодрым голосом:

— У меня завтра заседание кафедры, но после пяти я дома.

— Тогда я приеду к шести.

Прежде чем вернуться в комнату, я немного постояла в прихожей, вслушиваясь во вновь наступившую тишину, которая больше не была уютной.

Эта тишина сулила одиночество и душевную боль. Я была готова к тому, что за периодом отрицания и гнева последуют самые тяжелые стадии — депрессия и принятие. Правда, существовала еще промежуточная стадия — стадия торга. Но торговаться мне было не с кем, разве что с самой собой. Однако мысль о том, что мы с Матвеем могли бы *договориться*, ничего, кроме отращения, не вызывала.

Я привыкла считать эту тесную квартиру, расположенную на последнем этаже панельного дома в Калининском районе, своей, хотя прожила здесь немногим более четырех лет. До того, как я основательно потрудилась над ее интерьером, это была аскетичная холостяцкая нора, доставшаяся Матвеем от покойной дво-

юродной бабки. Будучи одинокой, она прописала его фиктивно, чтобы квартира после ее смерти не отошла государству. Матвей, на тот момент студент третьего курса, появлялся у нее два-три раза в год, когда нужно было что-то починить, прибить или передвинуть, а сам жил с родителями в большой коммунальной квартире возле Александро-Невской лавры.

Последние четыре года я каждое утро (или вечер, если выпадало ночное дежурство) садилась в переполненный автобус, доезжала до Финляндского вокзала, спускалась в метро, ныряла в вагон поезда красной ветки, а потом шла пешком от площади Восстания до больницы имени Куйбышева¹.

Ирония заключалась в том, что до замужества я жила с отцом на углу улиц Жуковского и Маяковского, в пяти минутах ходьбы от больницы, в которую смогла устроиться только потому, что на последнем курсе медицинского института вышла за Матвея. Тем самым я, по меткому выражению одной из одногруппниц, убила сразу двух зайцев: заполучила *перспективного* мужа и избежала распределения в глухомань. Матвей, ведущий специалист НИИ радиоаппаратуры, был рад, что уберег жену от суровой жизни на периферии. Вузовская комиссия по распределению вошла в мое положение, хотя в том году Ленинград не испытывал потребности в молодых врачах; один из членов комиссии подыскал мне должность интерна в Куйбышевской больнице. К тому времени я уже переехала к мужу на Замшину улицу, и мы немало посмеялись над таким вывертом судьбы: стоило перебраться на другой конец города, чтобы, спеша на работу, каждый день проходить мимо своего прежнего дома.

Мама умерла, когда мне было четырнадцать. Мы с отцом говорили именно так — умерла, хотя на самом деле ее убили.

¹ С 1992 г. — Марининская больница.

Убийцу так и не нашли. Мама не дошла до арки, ведущей в наш двор-колодец, всего каких-то тридцать метров. Она возвращалась поздно вечером от подруги, переживавшей тяжелый, с дележом детей и имущества, развод. Мама, психотерапевт с шестилетним стажем работы в больнице им. Кашенко, поддерживала подругу как могла. Они с отцом условились, что он встретит ее на углу, но то ли он вышел из дома позже, то ли мама доехала на метро быстрее, но только живой мы ее больше не видели. Маму ударили по голове чем-то тяжелым, отняли сумочку и сорвали норковую горжетку: она следила за модой и всегда одевалась очень хорошо. Следователь сказал, что ее, вероятно, *вели* от метро. Если бы удар пришелся чуть левее и ниже, мама получила бы сотрясение, потеряла бы много крови, но осталась бы жива. Но ей не повезло.

Все эти годы отец не переставал винить себя за то фатальное промедление. Мы никогда не говорили с ним об этом, условившись не тревожить память о маме бесплодными сетованиями на тему «Что было бы, если...». Но тяжкое бремя вины наложило на отца неизгладимый отпечаток.

Даже спустя несколько лет он так и не оправился от горя. Он больше не смеялся. Улыбнуться мог, но улыбались только губы — глаза оставались потухшими. Каждый раз, когда отец смотрел на меня, я понимала, что на самом деле он видит маму: мы были очень похожи. В двадцать лет я фактически стала ее копией. Маме было двадцать, когда она встретила отца.

После похорон меня хотела забрать к себе тетя Поля, мамина старшая сестра, жившая в Луге. Мне нравились тетя Поля и ее муж дядя Олег; я часто гостила у них на летних каникулах. Но отец меня не отдал. Он сказал тете Поле, что я — единственное, что у него осталось после Марины. Так и сказал, словно я была неодушевленным предметом. Но я на него не обиделась.

Декан филологического факультета предоставил моему отцу, профессору кафедры истории зарубежных литератур ЛГУ, бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. До того, как нас с отцом постигла трагедия, я жила беззаботной жизнью. Вступила в комсомол, вела общественную работу, сдавала нормы ГТО и опекала одиноких пенсионеров-блокадников. Чтобы хоть как-то отвлечь меня от горя, директор школы выделил мне путевку на две смены в пионерлагерь «Орленок». Я поехала без всякого желания, только чтобы дать отцу передышку от необходимости видеть меня изо дня в день, когда он так хотел остаться наедине со своим горем.

Через несколько месяцев отец вернулся к работе. Вокруг него постоянно вились симпатичные студентки. Я боялась, что рано или поздно он женится на одной из них, но этого не произошло. Отец продолжал хранить маме верность, хотя возможностей создать новую семью у него было предостаточно. Я научилась вести домашнее хозяйство. Отец был совершенно неприхотлив в быту. Все, что ему было нужно, — свежие рубашки в шкафу и суп в холодильнике.

Как и большинство обитателей Центрального района, мы жили в коммунальной квартире.

С соседями нам повезло: один, вахтовик-полярник Слава, круглый год проводил в Арктике, появляясь дома короткими наездами, а второй, одинокий пенсионер дядя Коля, относился к моему отцу как к сыну, а ко мне — как к внучке, которой у него никогда не было. О том, насколько неприятной может быть коммуналка, я знала благодаря школьным подругам, к которым часто заходила после школы, чтобы вместе сделать уроки или подготовить стенгазету. Чего я только не насмотрелась! Пьяные драки, семейные дразги, буйные помешательства, ругань соседей, рев грудничков, графики посещения уборной... Тем приятнее было возвращаться домой, в свою уютную комнатку, смежную

с папиным кабинетом, который одновременно служил ему и спальней, и столовой — и гостиной, когда к нему приходили друзья или сослуживцы.

Отец не сомневался, что я пойду по его стопам: поступлю в ЛГУ и стану филологом. Я разделяла его страсть к литературе (не только зарубежной, но и отечественной), и к окончанию шестого класса прочла все тома, которыми были забиты полки наших книжных шкафов, не считая постоянно обновляющихся книг из школьной и районной библиотек. Поэтому отец был весьма удивлен, если не сказать — поражен, когда я сообщила ему, что подала документы в мединститут. Несомненно, его это неприятно задело.

Надо отдать отцу должное: он не пытался меня отговорить. Дело было не в том, что он уважал меня как личность и ни в чем не ограничивал мою свободу; скорее он понадеялся на то, что я или провалю вступительные экзамены, или, если все же поступлю, уйду после первого курса, не выдержав испытаний анатомичкой. Я снова сильно его удивила, сначала поступив, а потом и втянувшись в учебу. Даже анатомический театр не отвратил меня от выбранного поприща. Не пугало меня и то, что учиться предстоит шесть лет, не считая интернатуры и ординатуры, если в дальнейшем я решу уйти в науку.

Отец, вначале не понимавший моего увлечения медициной, в конце концов убедился в серьезности моих намерений и гордо продемонстрировал меня друзьям и коллегам, когда те приходили к нам домой, как демонстрируют посетителям зоопарка редкостный экземпляр заморской птицы. Мамины гены оказались сильнее отцовских. Она ведь тоже была врачом, только врачевала души.

С Матвеем мы познакомились в палате интенсивной терапии.

Его отец, мой будущий свекор, попал в автомобильную аварию, и его привезли в НИИ скорой помощи,

где я проходила практику, с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и подозрением на перелом позвонка грудного отдела. Последнее, к счастью, не подтвердилось, но он пробыл на отделении неврологии достаточно долго, чтобы Матвей успел в меня влюбиться и добиться взаимности. Спустя шесть месяцев мы поженились.

Мой отец понимал, что рано или поздно я его покину. Он и хотел, чтобы я устроила свою личную жизнь, и боялся этого. Боялся не столько того, что останется один, сколько того, что мой брак может оказаться несчастливым. Матвей расположил его к себе тем, что имел серьезную специальность, жил отдельно от родителей и был заядлым спортсменом, а на знакомство с потенциальным тестем принес бутылку марочного коньяка десятилетней выдержки.

Все мои бывшие одноклассницы уже были замужем (некоторые даже успели развестись); мне исполнилось двадцать три, а этот возраст считался почти критическим для девушки; и все же, когда Матвей сделал мне предложение, я согласилась не сразу.

Не то чтобы я сомневалась. Я любила Матвея и знала, что мое чувство взаимно. Мне нравились его взрослость (он был на восемь лет старше), серьезное отношение к жизни, устремления и характер. Он не был моим первым мужчиной, но именно он открыл для меня всю полноту физической близости. Мы отлично смотрелись вместе: Матвей — высокий широкоплечий брюнет с обаятельной улыбкой, и я — миниатюрная, русоволосая, голубоглазая, как говорила тетя Поля — «кукольная». Родственники и друзья не сомневались, что мы станем прекрасной парой.

Тем не менее что-то помешало мне сразу ответить «да».

Я привыкла взвешивать за и против, прежде чем принимать серьезные решения. Девять лет без матери приучили меня к осторожности, возможно потому, что

я не получала от отца той поддержки, которую могла бы оказывать мне мама, если бы осталась жива. Безусловно, отец делал все возможное, чтобы я не чувствовала себя обделенной вниманием и заботой, но он при всем желании не мог заменить взрослеющей девушке мать; между нами не было и не могло быть той открытости, которая возможна только между двумя самыми близкими женщинами.

Я не видела смысла уходить от одного мужчины к другому, точно так же не способному понять и развеять мои страхи перед грядущей взрослой жизнью. К тому же приближалась сдача госэкзамена, поэтому все свободное от вузовских занятий время я проводила за письменным столом, заваленным конспектами и пособиями. Свадьба означала не просто регистрацию в загсе, но и обязательное двухдневное отмечание с родственниками с обеих сторон до седьмого колена; от одной этой мысли у меня начиналась паника.

Однако Матвей, твердо решивший сделать меня своей женой, проявил завидное терпение и настойчивость. Он пообещал, что, если я не захочу, никакой свадьбы не будет: мы просто распишемся, и я продолжу готовиться к госэкзамену. Решающим аргументом (о котором я не подумала, хотя это лежало на поверхности) оказалось вполне обоснованное опасение Матвея, что если на момент получения диплома я останусь незамужней, то к осени могу оказаться за тысячу километров от Ленинграда, в глухом сибирском поселке или в калмыцкой степи, с гарантированной потерей ленинградской прописки. Матвей, накрепко связанный со своим НИИ солидной зарплатой и серьезными обязательствами, при всем желании не смог бы со мной поехать, а это означало трехлетнюю разлуку с неопределенным будущим.

И я сдалась.

Мы скромно расписались, так же скромно посидели с родителями в кафе, и на следующий день я пере-

бралась к Матвею. Как он и обещал, для меня ничего не изменилось: я усиленно занималась, великодушно освобожденная новоиспеченным мужем не только от бытовых дел, но и от всего остального, на что он был вправе рассчитывать. Когда я получила диплом и вопрос о моем трудоустройстве решился положительно, мы на три недели уехали в Сухуми: жили в санатории, купались в море, гуляли по кипарисовым аллеям, объедались фруктами, пили молодое вино и не могли друг от друга оторваться.

Мы договорились пока не заводить детей. Моя интернатура означала сменные дежурства, физическое и эмоциональное напряжение, ответственность за человеческие жизни и усиленную наработку практического опыта. После окончания интернатуры я планировала остаться в больнице на должности штатного врача, а для этого требовалось всю себя отдавать работе. Матвей меня поддерживал. Я заверила его, что не стану тянуть с беременностью, чтобы избежать статуса *старородящей* (которым клеймили всех рожениц старше двадцати шести), хотя, на самом-то деле, не представляла себя в роли матери.

Постепенно я обустроила квартиру на Замшиной улице по своему вкусу. Я не любила шить и вязать, как мама, однако при помощи разных красивых вещиц, добытых в основном в комиссионках, смогла добиться уюта, к которому привыкла в родительском доме.

Мы с Матвеем были счастливы четыре года и три месяца, пока не случилось событие, вновь, как и тринадцать лет назад, перевернувшее мою жизнь с ног на голову.

]

Я открыла дверь своим ключом, вошла в прихожую и вдохнула привычные с детства запахи. Пахло

пылью, нафталином и полиролью для мебели, и над всем этим витал флер туалетной воды отца, которую ему привозил из-за границы его друг, работавший в торговле.

Темный коридор, заставленный громоздкой мебелью, уходил влево, тянулся мимо комнат соседей и возле туалета заворачивал к кухне. Справа коридор был коротким и вскоре упирался в нашу дверь; я по привычке говорила «нашу», хотя формально это было давно не так.

Я взялась за ручку двери, когда она неожиданно распахнулась. Отец, явно спешивший, едва на меня не налетел.

— Зоя! — воскликнул он. — Разве уже шесть?

— Без четверти. Я принесла эклеры.

— А я шел на кухню ставить чайник. Здравствуй.

Отец обнял меня, поцеловал и взгляделся в мое лицо:

— Выглядишь усталой. Много работаешь?

— Приходится. Коллега ушла в декрет, ее нагрузку распределили между врачами отделения.

— Но ты хотя бы высыпаешься?

— Конечно, пап, не переживай. Давай я поставлю чайник?

— Нет-нет, я сам. Проходи, располагайся.

Гостиная — просторная, с эркерным окном и лепниной на потолке — больше не служила отцу ни кабинетом, ни спальней. Он теперь работал и отдыхал в смежной комнате, которая раньше была моей. Туда перекочевали его письменный стол, кресло и японская печатная машинка *Brother deluxe*, которой отец очень дорожил. Окно той комнаты выходило не на шумный двор-колодец, а на глухую стену соседнего дома, поэтому там одинаково хорошо и работалось, и спалось, хотя вид из окна оставлял желать лучшего.

В 1944-м осколок немецкой гранаты раздробил отцу правую кисть; два пальца — большой и указательный — пришлось ампутировать. Вернувшись по-

сле войны на последний курс института, с которого его призвали на фронт, отец обучился слепой машинистке, чтобы не переучиваться на левшу. С тех пор он печатал не только все свои лекции, статьи и официальную корреспонденцию, но и личные письма, которые подписывал не без самоиронии: впечатывал фамилию и инициалы и рядом ставил чернильный крестик, делая его намеренно искривленным, хотя умел неплохо управлять с ручкой при помощи двух средних пальцев.

Я поставила коробку с эклерами на стол, где уже стояли чашки, заварочный чайник и вазочка с печеньем, прошла по комнате, выглянула в окно, села на диван и попыталась успокоиться. Сердце колотилось, ладони вспотели. Меня тяготил предстоящий разговор, я боялась реакции отца, не хотела, чтобы он меня жалел. Если бы можно было этого избежать, я бы с радостью схватилась за любую возможность. Но мой измученный мозг так ничего и не придумал. Ко всему прочему мне предстояло уложиться в определенные временные рамки, поскольку через два часа я заступала на суточное дежурство.

Отец принес чайник. Я разлила чай, выложила пирожные, спросила, как отец планирует провести предстоящий отпуск, как продвигается его монография, есть ли новости о переиздании учебника. Он отвечал рассеянно, его мысли были заняты чем-то другим.

Наконец беседа себя исчерпала. Повисла пауза. Я машинально ела эклер, не чувствуя вкуса, собираясь с силами словно перед прыжком в ледяную воду, мысленно репетируя первую фразу, после которой пути назад уже не будет.

Мы заговорили одновременно.

— Пап, я хотела тебе сказать...

— Солнышко, у меня для тебя новость...

Отец улыбнулся и поощрительно кивнул:

— Говори.

— Мы с Матвеем разводимся.